

ВИКТОР
НЕКРАСОВ

*В окопах
Сталинграда*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Виктор Некрасов
В окопах Сталинграда

«Азбука-Аттикус»

1945, 1953, 1959, 1962, 1965, 1967, 1971

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Некрасов В. П.

В окопах Сталинграда / В. П. Некрасов — «Азбука-Аттикус»,
1945, 1953, 1959, 1962, 1965, 1967, 1971 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-17236-4

Повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне. Эта удивительно честная, лишенная показного пафоса и ложной патетики в изображении войны книга пришла к читателям в 1946 году. Но и сегодня, написанная тонким психологом, о людях, оставшихся людьми в самых бесчеловечных условиях, а война предлагала только такие условия, она близка и интересна нам своей искренностью и талантом создавшего его автора.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-17236-4

© Некрасов В. П., 1945, 1953, 1959,
1962, 1965, 1967, 1971

© Азбука-Аттикус, 1945, 1953, 1959,
1962, 1965, 1967, 1971

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Виктор Некрасов

В окопах Сталинграда

© В. П. Некрасов (наследник), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

В оформлении обложки использован фрагмент картины Юрия Галькова

* * *

Часть первая

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ – вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии – приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, пока они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастеровыми плотники для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотника.

Тут-то и является связной штаба – Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцей бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет – лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно носить и пулеметы таскать. Тому – слишком широки, осколком заденет. Третьему – брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их скрыть – демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай – руки по швам – нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?..»

Лазаренко перепрыгивает через забор.

– Ну? В чем дело?

– Начальник штаба до себе кличуть, – сияет он многозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

– Кого? Меня?

– І вас, і начхіма. Шоб через пять минут були, сказав.

Нет, значит, не поверяющий.

– А в чем дело, не знаешь?

– А біс його знае. – Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. – Хіба зрозуміеш... Всіх связних розігнали. Капітан як раз спати лягли, а тут офіцер связі...

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майки и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова – начальника штаба – нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко – командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи – долговязый лейтенант Зверев – возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

– Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:

– Только дезкамеру наладили, а тут срывайся к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребнутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев – командир ПТР – презрительно улыбается:

– Что дезкамера... У меня половина людей с такими вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

– А может, на переформировку, а?

– Ага... – криво улыбается Гоглидзе, разведчик. – Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

– На Валуйки прут, сволочи. – Самусев в сердцах сплевывает. – Шестнадцать штук...

– Накрылись, говорят, уже Валуйки, – заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.

– Кто это – говорят?

– В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

– Много они знают...

– Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

– А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется:

– Верная примета. Точно. Как вырью, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи – вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздными – инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, – копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Капель – комбат-два и лихой, с золотым чубом и в залихватски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Капель по-граждански – полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном – разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

– Карты у всех есть? – Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает ею машинально попыхивать. – Прошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мятую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

– Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой – километров на сто. Конечный пункт – Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.
– Ясна картина?

Никто ничего не отвечает.

– По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход – тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

– Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю – поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева:

– У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

– Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными – человек сорок пять.

– Вооружение?

– Два «максима». «Дегтярева» – три. Минометов восьмидесяти двух – три.

– А мин?

– Штук сто.

– А пятидесяти?

– Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

– Та-ак... – Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. – Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

– По тому же маршруту? – сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

– По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Все...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.

– Я сказал – все! – круто поворачивается в его сторону Максимов. – По местам!

– Людей сейчас снимать? – тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

– Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же, в конце концов, голову иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

– А вы ко мне зайдите. – Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны – моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает копилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет.

– Немец к Воронежу подошел, – говорит он глухо, растирая носком сапога черный, хрупкий пепел. – Вчера вечером...

Мы ничего не отвечаем.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьет из этой кружки. Самогон крепкий – градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

– Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

– Отступал. От самой границы.

– От самой границы... А ты, Керженцев?

– Я – нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

– Дело – дрянь, в общем... «Колечка» нам не миновать. – Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. – Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня – особенно не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где-нибудь да мы будем. Не в Новобеленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев, – он строго глядит на меня, – до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами проваливалась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается:

– Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

– Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь – рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть – везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало, – там нет ничего нужного.

– Сжигай, к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

– Вы в сны верите, Керженцев? – спрашивает вдруг Максимов, почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет: – У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

– Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

– Близкий? – Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. – А вы женаты?

– Нет! – почти в один голос отвечаем мы.

– Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

– Вы не москвич, Керженцев?

– Нет, а что?

– Да ничего. Знакомая у меня была, Керженцева... Когда-то до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

– Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы – маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

– Да-да... Идите, – скороговоркой говорит он, – идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он выходит вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже почти до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади – батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется:

– Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

– Ну, идите, – говорит Максимов, протягивая руку. – Смотрите же...

Он крепко пожимает нам руки. Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только пожимает руки. У него очень крепкое рукопожатие.

– Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

– Есть, товарищ капитан!

– Смотрите же... – И он уходит твердой, прямой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие связь.

С Ширяевым мы условливаемся – я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек, по два-три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили – двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город – два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах на том берегу.

Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.

А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась «рама» – двухфюзеляжный рекогносцировщик «фокке-вульф», и мы усиленно и, всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно и равномерно. Даже «Правда» московская стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг как снег на голову – приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец – и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь, начнет бомбить – и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули – сдержали, мол, фрица... Громыхает там на севере – ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба – в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покинуть насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...

– Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем?

Командир взвода, молоденький, новоиспеченный, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

– Мины будем грузить? – спрашивает.

– Машины не дали из штадива?

– Не дали.

– Закапывай тогда. На берегу остались еще?

– Остались. Штук сто.

– Ладно. Десятка два возьми с собой, на всякий случай, остальные закапывай.

– Ясно.

– Лопаты все?

– В третьем батальоне тридцать штук.

– Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган – старательный, только слишком старшины боится.

Да... Надо еще карту поменять у Корсакова. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим, разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы – укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать – сейчас осталось только пять: два «максима» и три «дегтярева». Особенно не разгуляешься. Ставим «максимы» на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому – фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять-двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят – сто метров. Не густо, что и говорить!..

Следующий день проходит спокойно. Немец, дурак, не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки – редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе – ширяевское КП находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома, по-видимому в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятками у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятками. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

3

Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины. Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона. В прошлом – сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты – одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Они приятно пахнут ночной влагой и сырой землей.

Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.

Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.

Вспоминается наша улица – бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то их собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван – мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или «Анну Каренину». Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...

Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...

Направо – большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь, и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами – двадцать четвертого октября.

За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.

Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатými туфлями, а в ящике его – коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерьянки – чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них...

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем: «Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени, – хоть три слова...»

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботинках. А справа – марка: станция метро «Маяковская».

В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас

лежали в маленькой, длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока не остановилась на этой – зеленой и красивой. Стояла над столом и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве – эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем? Никогда уже она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета... Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы.

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около «Шанцера» – это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом «Шанцере»!.. «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Знак Зорро»... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подальше, около Прорезной, в тесном, с нумерованными местами «Корсо» шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками... А в «Экспрессе» – потом он почему-то стал прозаическим «Вторым Госкино» – шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Я сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные «линкольны» у «Континенталя». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасунько с Маской смерти.

А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие, сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И – стоп! – обрыв. Дальше – Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ошетилившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая...

Милый, милый Киев...

Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи за два дня до оценки, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...

Нас было шестеро неразлучных друзей – Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый, маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все Чижиком звали. Вместе

учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт – в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсины, готовальни купили и...

Чижик под Киевом погиб, в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале – обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзале. Анатолий связистом будто стал – кто-то говорил, не помню уже кто.

А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая, больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко – маленький, затерявшийся среди камышей и ракушек очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

– Третий ряд будем делать? – спрашивает кто-то над самым моим ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.

– Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится «мессершмитт». Мы огня не открываем – экономим боеприпасы. Две большие партии «хейнкелей» и одна «Юнкерсов-88» на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа – третьего батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами – старыми ботинками, седлами, мешками и тряпьем. Ворча и ругая крестами и законами и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запикивает мешки под ящики с патронами.

– Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить. – И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.

Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, оцетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками, – все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка – бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полугнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

– Я лучше вас знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритвы – все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немислимо. А вообще – это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли – через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно высланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками – с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки – ежедневно рыба, если в лесу – земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю – будет привал, и он расстелет плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке – молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что – он не говорил. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на «о». Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.

Мы редко с ним разговариваем – он неразговорчив. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшеничный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.

– Когда кончится война, – сказал он, – я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся:

– Почему именно три недели?

– А сколько же? – Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равномерно мешал кашу. – Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и шуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. – Он вынул и облизал ложку. – И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:

– Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?

Он даже не улыбается.

– Мяса такого нет. И приготовить его здесь по-настоящему нельзя.

– Значит, до конца войны ждать будем?

Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики – носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки – с белой, черной и защитного цвета ниткой.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках – были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко – километров за семьдесят – восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что «ранком в неділю проходили солдати. А увечері пушки йшли». Должно быть, наши дивизионки. «Тільки годину постояли і далі подались. Такі заморені невеселі солдати».

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией, противника – синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три-четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное – часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота

не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкуются у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

– Будем трогаться, что ли?

Сощутив глаза, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

– Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.

– Сколько до Ново-Беленькой осталось?

– Километров шестьдесят – семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

– Два перехода еще.

– Если поднажмем – завтра к обеду будем.

– Быть-то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...

Подходит адъютант старший – весь красный от веснушек лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.

– Двух человек уже не хватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову:

– Как не хватает?

– А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...

– Куда же они делись?

Саврасов пожимает плечами:

– Может, ноги потеряли? А?

– Не думаю.

– Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.

Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения.

– Если потеряется еще хоть один человек – расстреляю из этого вот пистолета. – Он хлопает себя по кобуре. – Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.

– Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались... – Он ругается и встает. – Подымайте людей...

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота – все это резкими, короткими движениями, ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы вытягиваются на дорогу. На ходу заматывают обмотки. Котелки в руках – с молоком на дорогу. У ворот стоят женщины – молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подстав-

ляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад не оборачиваясь.

Мы идем дальше.

5

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко – связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.

– Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.

– Перевяжи кобылу, Лазаренко...

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла – по-моему, комиссарова – хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.

– Дела дерьмовые, – коротко говорит он, – полк накрылся...

Мы молчим.

– Майор убит... комиссар тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

– Второй батальон неизвестно сейчас где... От третьего – рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна «сорокапятимиллиметровка» осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.

– Максимов сейчас за командира полка... Тоже ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

– Куда?

– А кто его знает теперь куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.

– А Афонька что, убит?

– Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...

– И медсанбат?

– И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

– Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми – с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен... У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою сигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

– В общем, Максимов сказал разыскать вас и на соединение с ним идти.

Ширяев вытаскивает карту.

– На соединение с ним? В каком месте?

– Со штадивом связь потеряли. – Игорь скребет затылок мундштуком. – Максимов сам принял решение. По-видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново-Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

– А где сейчас немцы?
– Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти-двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...

– Много их?

– Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек – уже шестьсот пятьдесят.

– И куда движутся?

– Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая – вроде грейдера – на юг...

– А Максимов куда приказал?

– Максимов? – Игорь тычет пальцем в карту. – На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.

Мы поднимаем бойцов.

С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках: в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко – километрах в сорока, сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился, – танки. Штук десять-двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку – десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал.

Мы пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая, – видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади – громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять поднимаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевают пыль. Проведешь рукой по лбу – рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.

В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда, за лес.

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь.

Ночью идет дождь, мелкий, противный.

6

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи – каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлопает, губы синие. Но костров разжигать нельзя: сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

– Занимай оборону, инженер... Фрицы.

Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

– Какие фрицы?

– Посмотри – увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного – человек двадцать. Без пулеметов, должно быть разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

– И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...

Подходит Игорь.

– Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?

Он тоже, по-видимому, спал, одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.

– Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди разложены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются, стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.

– Огня не открывать, пока не скажу, – вполголоса говорит Ширяев, – два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо.

Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами – ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках, должно быть командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, видно устал. Рядом – маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походки кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок:

– Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что – мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

– Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.

– Прекратить!

Ширяев опускает автомат, щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

– Дай закурить.

Игорь ищет в кармане табак.

– Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую, круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

– Ничего, перекурить успеем. С сигаркой все-таки веселее. – Ширяев скручивает толстенную, как палец, сигарку. – Интересуюсь, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной, третья прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Потом перерыв в несколько секунд – и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.

Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас.

– Слушай мою команду!..

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.

Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета – этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

– Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

– В том сарае почти всех перебило... – Он с трудом переводит дыхание. – Осколком повредило пулемет... По-моему... – Он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

– Что – по-моему? – резко спрашивает Ширяев.

– Надо что-то... этого самого... решать...

– Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать... Сколько человек вышло из строя?

– Я еще... не того... не считал...

– Не считал...

Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.

– Ну что ж! Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

– Который час? У меня часы стали.

Игорь смотрит на часы:

– Двадцать минут двенадцатого.

– Давайте тогда... – Ширяев жует губами. – Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.

– А Седых? Где Седых?

– Вон, на стропилах сидит.

– Давай сюда!

Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.

– Пулемет знаешь?

– Знаю, – тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева не мигая.

Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеке. И глаза совсем детские – веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним – точно спутал кто-то – крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.

– А где гимнастерка? – Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.

– Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом... – И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

– Ладно, а немецкий знаешь?

– Что? Пулемет?

– Конечно пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

– Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь... – и запинается.

– Ничего, я знаю, – говорит Игорь, – все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

– А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно... – Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: – Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется – ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

– Понятно, – тихо отвечает Седых.

– Что понятно?

– Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.

– Тогда по местам. – Ширяев застегивает воротник гимнастерки: становится совсем холодно. – Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где «максим», лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой, противной дрожью.

– Долго не засиживайтесь, – говорит Ширяев Игорю. – Час – не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.

– Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых, один – тяжело. Его тащат на палатке.

Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

– Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? – спрашивает Седых и смотрит на меня своими ясными, детскими глазами.

– Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.

– А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.

– Його газами ще в ту війну отруїли. І взагалі, він не німець, він австріяк, і фамілія в нього не Гітлер, а складна якась – на букву «ш». Правильно, товарищ лейтенант?

– Правильно. Шикльгрубер – его фамилия, он тиронец...

– Тиронец... – задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку. – А его немцы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко – с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

– А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.

– Правда.

– Как же это так?.. Самый главный – и ефрейтор.

Он смущается и принимается за мозоль.

Мне нравится, как он смущается.

– Ты давно уже воюешь, Седых?

– Давно-о... С сорок первого... с сентября...

– А сколько же тебе лет?

Он задумывается и морщит лоб:

– Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.

Оказывается, он еще под Смоленском был ранен, в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.

– Ну и что же, нравится тебе воевать?

Он смущенно улыбается, пожимает плечами:

– Пока ничего... Драпать вот только неинтересно.

Даже Валега и тот улыбается.

– А домой не хочешь? Не соскучился?

– Чего? Хочу... Только не сейчас.

– А когда ж?

– А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.

Валега вдруг приподымается и смотрит в окно:

– Что такое?

– Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...

Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.

– Сейчас из минометов начнет шпарить, – вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.

Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.

Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно – Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.

Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его ставшее вдруг сразу белым лицо и стиснутые, крепкие зубы.

– Капут... кажется... – Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.

– Я... товарищ лейт... – Он уже не говорит, а хрипит.

Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа, белая, как кожа, мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и вдруг сразу обмякает. Губа перестает дрожать.

Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо-треугольник с кривыми буквами.

Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.

Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому – побольше. Немцы всё обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.

7

Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь. Какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов:

– Н-но. Холера... Нно-нно... Шоб тебе, паразита... но... Холера...

И эти «холера» и «паразит», однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!..

Какой-то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки – кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты – скользят подковами по мокрому настилу. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

– Холера паразитова... Н-но... Шоб тебя!

Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

– Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...

– Вот тебе и вот так... Не видишь – прогнила.

– А ты за ось.

– За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...

Кто-то в капюшоне задевает меня плечом.

– Сбрось ее к чертовой матери!

– Я те сброшу, – поворачивается здоровенный детина.

– Вот и сброшу... Из-за тебя, что ли, машины стоять будут?

– Ну и постоит.

– Серега, заводи машину. – Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватает его за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырко не узнает.

– Чего вам еще надо?

– Не узнаешь? Керженцев – инженер.

– Елки-палки! Откуда?.. Один?

И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытягивают колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

– Садись на машину, – говорит Копырко, подходя, – подвезу.

– А ты куда путь держишь?

– Как куда?

– Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

– На фрицев посмотреть, что ли? – Копырko устало улыбается. – Я еле-еле оттуда машину выгнал.

– А сейчас куда?

– Куда все. На юг. Миллерово, что ли... Ну, давай на машину!

– Я не один. Нас четверо.

Он колеблется, машет рукой:

– Ладно. Садитесь. Все равно горячего не хватит. А кто с тобой?

– Свидерский и двое бойцов – связные.

– Залезайте в кузов. Вон в тот «форд». Впрочем, мы с тобой и в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

– Ширяева не встречал? – спрашиваю я.

– Нет. А где он?

– Со мной был, а сейчас не знаю где.

– Слыхал, что майора и комиссара убило?

– Слыхал. А Максимова?

– Не знаю, я с тылами был.

Копырko круто тормозит. Впереди затор.

– Вот так все время... Три шага проедем – час стоим... И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще из полка есть.

– Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...

– А немцы?

– А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос? – Он проводит рукой по глазам. – Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина спереди. Одним словом, сам понимаешь...

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом – не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

Забираемся в какую-то хату и валимся на пол на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена – «форды», «газики», «зисы», крытые громадные «студебеккеры». Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых.

И все это с криком, гиком, шелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырko куда-то исчез со своей машиной – раздобыл, вероятно, где-нибудь горячее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним... Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

– Ну... – говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.

– Что – ну?

– Дальше что?

– Идти, по-видимому.

– Куда?

Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:

– Своих искать.

– Кого своих – Ширяева, Максимова?

– Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни – нос лупится, кокетливые когда-то – в линеечку – усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал? Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...

А на другой карточке славненькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком...

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова... А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли...

У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекачивается к дороге.

А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его людей с газобезжища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид, и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д-3-54-27, Д-3-54-26. Это не наши. У нас – Д-1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица.

– Какой армии, ребята?

– А вам какую нужно?

– Тридцать восьмую.

– Не туда попали. В справочном спросите. – И смеются.

А машины идут – одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.

– Ну что, пошли?

Игорь встает и каблуком вдавликает в землю окурок.

– Пошли.

Мы вливаемся в общий поток.

8

– Эй, вы, орлы!

Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский – помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой:

– Давайте, давайте сюда!

Подходим. Так и есть – Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

– Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь. – Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть. – Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, не хочется что-то.

– Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные. – Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу. – А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевого едет, пять подвод.

– А вы куда путь держите? – спрашиваю я.

– Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем, и все. А тебе куда надо?

– Я серьезно спрашиваю.

– А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

– До Сталинграда?

– А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь.

– Наших не встречал? – спрашивает Игорь.

– Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки...

– А где твои кубики? – перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

– Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? – Калужский прищуривает глаз. – Оденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...

– И пояс у тебя как будто со звездой был.

– Был. Хороший, с португеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его – хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?

Мы отказываемся.

– Жаль... хорошая, московская. – И он отхлебывает из фляжки, закусывая маслом, просто так, без хлеба.

– Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

– А он где, не знаешь?

– Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо, не лезет. – Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездowymi, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.

А вообще, на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает – он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от

одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились дай Бог как... У них авиация, а авиация сейчас – это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное – через Дон прорваться. Вешенская, говорят, уже занята – вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цымлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим, – но это под большим секретом, – он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам – мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить – мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыляющий ножом подошву своего сапога Игорь подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

– Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

– Вареников со сметаной, что ли? – смеется Калужский.

– Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать – рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену:

– Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...

– Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! – Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. – Командир тоже называется. Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты: «Мы еще можем пригодиться родине». Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине! Ездового хоть постыдился бы такие вещи говорить!

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный «додж» преградил нам дорогу.

Мы с Игорем перебираемся на другую подводку.

9

Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные – и их большинство – на Цымлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие, выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь только, чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает «рама», сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так – какая-то нудная тягомотина.

Какой-то майор-связист – мы ему помогаем «виллис» из канавы вытащить – говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово – «бои» – на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.

– А вообще, добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете... – И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты!

Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... за Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только рукой отмахиваюсь? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Что война – это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены отступать, но отступление – это еще не поражение, – отступили же мы в сорок первом году и погнали же потом немцев от Москвы... Да, да, да – все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть, – вера.

Минуем Морозовскую – пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом Дон. Маленький, желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерными топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только, ведь там такой роскошный бритвенный прибор...

За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня – как вчера, завтра – как сегодня. Солнце и пыль – больше ничего. Одурающая, разжижающая мозги жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых, скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта-грузина, в свеженьких пехотинских фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

– На фронт топаете?

– На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой. – И оба улыбаются.

– Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

– А где фрицы? – осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

– А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

– А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.

– А Ростов?

– Ростов нет. Не писали еще.

– Не писали?

– Нет, не писали.

Лейтенанты мнутя. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом:

– Ну а как там, на фронте... здорово драпают?

– Кто драпает? – Игорь делает удивленное лицо.

– Ну наши...

– Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.

Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозку с вихляющимися колесами.

– А вы?

– Что – мы?

– Не драпали?

– Зачем? На формировку едем.

Лейтенанты смеются, как будто шутка очень удачная, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

– Возьмите нас с собой, а, хлопцы? – говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре. – Пистолеты у нас есть, что еще надо?

Лейтенанты переглядываются.

– Ей-богу, ребята... До точки уже дошли.

– Да что мы... – мнутя лейтенанты, – мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

– По всем правилам подходите, – кричат вдогонку лейтенанты, – он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

– Ну, чего вам? – спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам: так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки.

– Что же я вам скажу, друзья? – говорит он низким, каким-то рокочущим басом. – Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

– Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да... – Он опять берется за ложку.

– Ну а все-таки, товарищ майор...

– Что все-таки, – он повышает голос, – что это значит – все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом, шагом марш! – И уже более мягким голосом добавляет: – В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии, сказали?

– Тридцать восьмой, товарищ майор.

– Тридцать восьмой... Тридцать восьмой... – он чешет мизинцем переносицу, – кто-то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...

Мы козыряем и уходим.

В Котельникове нам говорят, что штаб в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, он слышал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из тридцать восьмой и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско-Почтовскую.

Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых раздобыли где-то мешок овса...

А в общем... Едем в Сталинград...

10

Сталинград встречает вылезавшим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.

Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых «студебеккеров». На них длинные, похожие на гробы ящики, «катюшины» снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах – задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутылки с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы.

Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то очень проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под Рождество пишущем своему дедушке на деревню.

А над всем этим – голубое небо. И пыль... И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить – злые собаки». А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора «Нижне-Волгокооппромсбыта», «Заливка галош», «Починка примусов», «Прокурор Молотовского района»...

Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название – Царица. Виден кусочек Волги – пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и поднимаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего игоревского командира роты в запасном полку. «Золото, а не женщина – сами увидите».

Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.

Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется – веселый, без пилотки и в одной майке.

– Давай сюда, Седых, заводи! – И мне на ухо: – Все в порядке. Как раз к завтраку попали.

Маленький уютный дворик. Стеклопанельная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает.

Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьми-

ничны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натирают мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой.

После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на автоскладе, что гуся прислал ее брат – он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня стирает, ей это ничего не стоит.

Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.

К обеду приходит Николай Николаевич – маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.

Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта, – «ведь это просто безобразие, сами посудите», – и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят.

После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линейкой меряет расстояние от Калача и Котельникова до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты – получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям, – эти газеты неприкосновенны.

Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцем от мух.

Вечером мы собираемся в оперетту на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.

На противоположном крыльчке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платье-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.

– Совсем неплохие ножки, а, Юрка? Да и вообще...

Неистово плюет на щетку.

Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.

– Это хороший крем – эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна, – и протягивает баночку.

Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театр показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме – это еще до института было – и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.

– Зайдите к нам, мама чай приготовит.

– С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.

Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрепчат под нами – такие они хрупкие и изящные и такие грубые и неловкие мы. На стене Бёклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.

Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван, мягкий и удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.

У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Бёклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников на буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.

Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли с Оскола, – нет, позже, после сараев, – у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.

Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть – новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы с красными от загара лицами тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то просто боец, на сытой буланой лошадке весело крикнул звонким, как у запевал, голосом:

– Здорово окопались, господа военные! Ни пуля, ни мина не достанет...

И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила по-видимому, еще подкинул:

– Самоварчик бы еще да вареньице...

И все опять засмеялись.

Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: «Посмотрим, что вы недельки через две запоете...»

Да, самое страшное на войне – это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное – это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке – цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.

Люся встает из-за рояля.

– Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.

Стол покрыт белой хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек – мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть.

Люсиная мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенья и все вздыхает, и все вздыхает.

– Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал, – и опять вздыхает. – Несчастное поколение, несчастное поколение...

От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.

– Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады.

Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок.

– Ты не спишь, Юрка?

– Нет.

– О чем ты думаешь?

– Да так... Ни о чем...

Игорь ищет в темноте табак.

– У тебя есть курево?

– В сапоге посмотри, в мешочке.

Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает сигарку.

– Надоело все это, Юрка.

– Что – все?

– Да болтание это. Как цветок в проруби...

– Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо, до завтрака.

– Тоже счастье – отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасный полк – еще лучше.

– Не пойду в запасный полк.

– Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.

– Ну и пускай посылают. Все равно не поеду.

Несколько минут мы молчим. Игорь мигает сигаркой.

– А с ребятами что делать будем?

– С какими? С Валегой и Седых?

– Их ведь надо на пересыльный отправлять.

– Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьют кого-нибудь.

Игорь смеется.

– Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились. Как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол, – это ты – не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.

– Ну что ж, настоящий, значит, ординарец, – говорю я и поворачиваюсь на другой бок. – Спи, завтра вставать рано.

Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит сигарку о землю.

Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уламывать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятное – не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже других?

Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сворачивается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега – туда! Валега – сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, тогда уж по-настоящему отдохнем.

11

Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.

– Деточки... Живы, здоровы? Куда топаете? – Он сует свою теплую, влажную руку.

– Туда, откуда ты.

– Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?

– Есть.

– Необходимо перекурить. И мозгой заодно шевельнуть. Вон скамеечка симпатичная.

Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике.

– Незачем прыгать очертя голову. Понимаете? Здесь дело простое. Или резерв, или передовая. Чик-чик – и ваших нет.

– Ну?

– Вас это устраивает? – Бритые брови его удивленно приподымаются. – На передовой знаете что творится сейчас? И не спрашивайте... С бору по сосенке. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из Калача. Комсостав почти весь вышел. Тыкают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж – держи. Понимаете? «Мессера» по головам ходят. Одним словом...

Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.

– А резерв? Пшенная каша, хлеб как глина. Ну, может быть, селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, БУПы, ручной пулемет... Семечек хотите?

Не дожидаясь ответа, сыплет нам в ладони мелкие, пережаренные семечки.

– Теперь дальше... – Он слегка наклоняется и говорит загадочным полупшепотом: – Встретился я здесь с одним капитаном, я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились. Оказались общие знакомые. Короче, дней через пять-шесть, максимум десять, будет здесь подполковник Шуранский. Вы его знаете? Золото, а не человек. Я с ним на «ты». Вместе выпивали. Так он, этот самый Шуранский, устроит. Сейчас он в Москве, в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет – поворачивайте-ка вы пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий.

Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.

– Одну минуточку. Вы подождите. Вон с тем майором пару слов только...

И, поправив фуражку, он скрывается за углом.

Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант в начищенных сапогах сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности – стрелки, минометчики, артиллеристы – в пятой комнате с одиннадцати до пяти.

Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера.

– К черту эти противогазы. Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь.

На Туркестанской опять лейтенант, только уже черный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет и – «приходите завтра к десяти».

Завтра в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой – «Майору Забавникову, зачислить в резерв» – шагаем на Узбекскую, 16.

Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит – маленький, желчный, зеленый, со слезящимися глазами. Опять – кто, что да откуда. Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой.

Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обмотанные зеленью, точно сегодня Троица, буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие «журавли» в каждом дворе.

Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит, кажется о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.

Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко... Архитектура, живопись, литература... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это потом, потом...

А завтра опять этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и послепослезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и пойдет, пойдет, пойдет...

Мы проходим мимо памятника Хользунову, Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.

Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите, стоит подбитый «хейнкель». Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину, ковыряются в приборах. Взрослые угрюмо и внимательно рассматривают, из-за натянутой веревки, разбитые моторы и торчащие пулеметы.

– Весь бронированный, сволочь...

– Да, металла не жалеют.

– А сколько у него пулеметов?

– Два. И две пушки.

– И бомбы?

– И бомб две тонны.

– Две тонны?

Люся тянет меня за рукав:

– Идемте. Мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.

– Куда?

– На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо. Честное слово.

Мы едем на Мамаев курган.

Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что малопривлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник.

Но вид отсюда действительно замечательный.

Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. «Красный Октябрь», «Баррикады» и совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. Там свои поселки – белые, симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.

И за всем этим Волга – спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем.

Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд вниз. Он страшно длинный, на платформах у него что-то покрытое брезентом, должно быть танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.

– О чем вы думаете? – спрашивает Люся.

– О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.

– Юра... Как вы можете?

– А другой вот там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.

– Неужели вам не надоело все это?

– Что – это?

– Война, пулеметы...

– Смертельно надоело.

– Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...

– Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгоды и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что, когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.

– А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.

– Вы недавно работаете в госпитале – вот и все.

– Второй уж месяц.

– А я второй уж год. А военный год – это добрых три мирных. А то и пять.

Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых, – длинные и загибающиеся кверху.

– А какой вы до войны были, Юра?

Ну что ей ответить? Такой же, как и теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в третьем ряду партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами.

Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег.

– Красиво, правда? – говорит Люся.

– Красиво, – говорю я.

– Вы любите так сидеть и смотреть?

– Люблю.

– Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?

– Сидели и смотрели.

– У вас там жена в Киеве?

– Нет. Я не женат.

– А с кем же вы сидели?

– С Люсей сидел.

– С Люсей? Смотрите, как смешно, – тоже Люся.

– Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.

– А где она сейчас?

– Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.

– А у вас есть ее карточка?

– Есть.

– Можно посмотреть?

Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым, свежим мылом.

– А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не заметили?

– Нет, не замечал.

– А вы любите ее? Или только так?

– Мне кажется, что да. Во всяком случае – скучаю.

– Очень?

– Пожалуй, очень.

– Почему «пожалуй»?

– Ну просто – очень.

Люся опускает глаза.

И вдруг вся краснеет. Даже уши, маленькие, с дырочками от серег уши ее, становятся красными.

Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки – бледные и робкие.

Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку – на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая, Люся, и мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы с ней расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и так же, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создававшее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого.

И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда война закончится, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет.

Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.

12

Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник – майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы – угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко, тоже из резерва.

Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. И это все.

На мою долю выпадает мясокомбинат, холодильник, четвертая мельница и хлебозавод. Игорю – пивзавод, другая мельница и завод «Метиз».

Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник.

Мы с Игорем захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый – Шапиро – располагается на стульях. Валега и Седых – в соседней комнате, на полу. Угрюмый капитан где-

то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит.

На заводах мнутя директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять – одни женщины остались. Рабочие косятся: чего это военные зачастили. Разыгрываю пожарного специалиста – шупаю огнетушители.

На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. В мяскокомбинате – колбасой и охотничьими сосисками.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи – душны.

Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки малоутешительны. Майкоп и Краснодар оставлены.

В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие, глубокие ямы – говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают фрицы, роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.

В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.

Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывчатое – «северо-восточнее Котельникова», «излучина Дона»... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминична слышала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками: «Танки... авиация... что поделаешь...»

Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи, зубной врач с женой и двумя детьми, вчера выехали в Ленинск – «погостить к сестре».

А в оперетте – «Сильва», «Марица», «Роз-Мари». В буфетах, кроме волжской воды – пять копеек баночка, – пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.

В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый, ленивый удав дремлет в углу своей клетки, на старой соломе.

В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не погибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воют в «фрицев» и в «наших». Девочки играют в «классы», прыгая на одной ножке.

У Дома Красной армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда».

Так ползет август – душный, безоблачный, пыльный.

Как-то встречаю Калужского, в новенькой гимнастерке и в фуражке со сверкающим околышем. Он устроился в одном из эвакогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы – раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужно сахару, он может мне уступить с десяток кило – все равно всего вывезти не удастся, придется сдавать фронту.

Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами «газике» куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту – авось есть что-нибудь на «до востребования».

13

В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят.

Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио.

Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары, неба.

На заводы сегодня не пойду: схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников.

Сдерживаю с Игоря шинель.

– Вставай! Идем на Волгу купаться.

Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает. Моргает сонными глазами.

Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.

– Сегодня утром фрица сбили одного. – Он ставит сковородку на кирпич. – Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться – больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.

– В городе много зениток, – говорит Шапиро и слезает со своих стульев, – батарей двадцать пять будет.

Он очень любит цифры и всякие подсчеты.

– Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.

– А сколько у немцев самолетов? – спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.

– К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.

– Почему?

– Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает по одному самолету в день, – я беру невероятный минимум, – то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...

– Ты купаться пойдешь? – перебивает Игорь.

– Нет. У меня чирий выскочил. Шестой чирий за этот месяц. И на самом неудачном месте, приходится на одной половинке сидеть.

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.

Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок – байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубов и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце.

Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простуженно гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особенного, непохожего на другие завода.

Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так на животе и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.

Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу, – мы, и бомбы будут вздывать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю.

Игорь с размаху хлопает меня между лопаток:

– Полезли в воду... Вон пароход плывет.

С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого, скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами – почти вся спина наружу – плывет он наперерез пароходу. Голова в воде. Только рот иногда из-под руки появляется, чтоб набрать воздуха. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо. Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.

Пароход проходит – приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается запыхавшись.

– Сердце что-то качает. Старею. И вообще, не река, а нефтехранилище какое-то. – Он весь блестит и переливается от нефти. – Идем-ка лучше в библиотеку.

Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина.

В библиотеке Игорь наслаждается «Аполлоном» за 1911 год. Я – какими-то новеллами перуанского происхождения в «Интернациональной литературе». Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстук. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Доре к «Мюнхгаузену». У меня тоже когда-то была эта книга в красном с золотом переплете и такими же рисунками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как он сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка – ворота разрезали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.

Мы сидим до тех пор, пока библиотекарьша не намекнет нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена. Раньше до десяти были открыты, а сейчас помощница ее заболела и они только от двенадцати до шести работают.

– Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть за тысяча девятьсот двенадцатый и тысяча девятьсот семнадцатый годы.

Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит – все остыло.

У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит:

– Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...

Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.

Валега встречает насупленным взглядом исподлобья.

– Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем... – Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.

Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки – красивые, с розовыми цветочками.

– Совсем как в ресторане, – смеется Игорь, – еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.

И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор...

Что за черт!

Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных уровнях. Все небо усеяно плевками зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.

Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко – видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать штук... Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло, колесами вверх. Входит в пики. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна... две... три... четыре... десять... двенадцать... Последняя – белая и большая. Я закрываю глаза. Вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пики. Потом ничего нельзя уже разобрать.

Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно тисками, выше локтя. Лицо Валега – остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает...

Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.

Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.

Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт – животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то – скорей бы, скорей, что угодно, только скорей.

Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом, – везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.

Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.

Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот, и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.

– Кушать будете? – спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.

Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю – буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито-фиолетовый.

– Ну ее... – машет рукой, – не лезет в глотку... – И выходит на балкон.

Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился.

Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.

Игорь возвращается с балкона.

– А где наш капитан живет?

Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, переключаются, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расплзается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

– Господи Боже... Пресвятая Богородица...

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.

На углу Гоголевской громадная воронка – целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут...

Дым расплзается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.

В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлопает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света:

– Идите домой... ждите.

Мы идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут... Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.

Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.

14

Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на Тракторный.

– На Тракторный? Зачем?

– Не знаю. Приказано.

– Кто приказал?

– Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.

– А что там делать?

– Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.

– И больше ничего?

– Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.

– А так что слышно?

Капитан пожимает плечами – разве поймешь?..

Седых отзывает меня в сторону:

– Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?

– Я те схожу!

– Водка, говорят, есть.

– Ты слышал, что я тебе сказал?

– Слышал.

– Иди складывай свои манатки.

Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.

– Опять летят...

Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.

– Надо в подвал идти, – дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.

– Вы Самойленко? – Голос хриплый, задыхающийся.

– Я...

– Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.

Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.

– Давай на машину... Слыхал?

Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.

Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расплзающийся кверху, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.

Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, – полуголые, в шубах, закопченные.

Гольдштаб сидит в подвале. Народу – не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись смотрит на нас, не узнает.

– Вы к кому?

– К вам. Саперы.

– Ага... Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.

Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки.

– Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага. – Он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой. – Метров пятьдесят – не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие. – Смотрит на маленькие, чрезвычайно изящные золотые часики-браслет. – Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль-ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли – все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым, вы его там найдете, – в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль-ноль я буду там.

Он задумывается, прикусив губу.

– Ну ладно.

Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подвешенным карандашиком. Записывает.

– Керженцев – ТЭЦ. Свидерский – литейный. Самойленко – сборочный и т. д. – Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. – Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь.

Едем дальше.

Большова находим довольно быстро – по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка навывкате, иронические и умные. В углу рта окурочок. Руки в карманах.

– Помощники, да? – улыбается противоположным папиросе углом рта.

– Да. Помощники.

– Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше – было б лучше. А сейчас... – он зевает и сплевывает окурочок, – основное уже сделано. Омметра нет?

– Нет. А что?

– Капсюли не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня – навряд ли выйдет. Что, бомбит город?

– Бомбит. А почему не выйдет?

– Почему? – Большов лениво улыбается. – Взрывчатка дерьмовая. Тола – как кот наплакал. Остальное – аммонит. Отсыревший, в грудках. Ну и капсюли не калиброваны. Цепь проверять нечем. Омметра нет...

– А детонирующего шнура? – спрашивает Игорь.

– Обещают завтра дать. И омметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня.

– Сегодня?

– Говорят. Если не отгонят, то сегодня.

Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек.

– Махорка есть?

Закуриваем. Мимо, по широкой, обсаженной деревьями, асфальтированной аллее, проходят отряды рабочих. Несут пулеметы, танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.

Я спрашиваю:

– Где немцы?

– А вон, за цехами. Там овраг. Мечетка или Нечетка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.

– А где наши объекты?

– А у вас что?

– ТЭЦ, – отвечаю я.

– ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть.

Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул.

– Эй, друг!

Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.

– Вас что, лейтенант прислал?

– Да. Большов.

– Принимать будете?

– Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.

– Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то, Львович, кажется...

– А теперь я.

Сержант, потянувшись, встает.

– Ну что ж, пошли... – Ищет в кармане махорку. – Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные, сволочи, всё рвутся...

– И много?

– Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.

– Сеть готова?

– Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали чертову гибель, а омметра нет. Электрик тут один мне помогал, говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай.

– А где подрывная станция?

Сержант машет в сторону окна:

– Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно.

Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд – три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной – метров триста от самой станции. Цепь длинная, километра два. Сделана аккуратно – концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много.

Где-то, по ту сторону электростанции, слышно, как разрываются мины.

– По окраине бьет, – говорит сержант. – Из ротных все бьет. Чепуха. В щель пойдете?

– А где телефон?

– В щели. Все там. Вроде КП устроили.

15

В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме, с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой – инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.

Все сидят и курят при свете «летучей мыши». Щель неплохая, обшитая досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н, с двумя входами.

– Что без омметра делать будем? – спрашиваю я.

Георгий Акимович искоса поглядывает на меня:

– У нас мостик Уитстона есть.

– Что же вы молчите?

– Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова – главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.

– Надо послать, значит.

– Посылали уже. Они, видите ли, на «Красный Октябрь» уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут. И вот все едут.

У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить, по-видимому ему лет тридцать.

– Две ночи кряду не спишь, и толку никакого.

Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком.

– Вот позвонят сейчас по телефону – действуйте... А дальше что?

– Действовать, по-видимому, – отвечаю я.

– Рубильник включать? Да? Так, по-вашему?

Большие, с темными веками глаза его сердито сверлят меня.

– По-моему, так.

– А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет. – Он рукой быстро проводит по горлу. – Вообще, ни плана, ни организации...

– Георгий Акимович, – перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, и сгибает и разгибает какую-то проволочку.

– Что – Георгий Акимович? Нужно все-таки мало-мальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все-таки тарарах устроить. Куда? Врассыпную? Куда глаза глядят? Потом... Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот... Вообще... – Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу. – Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод – и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил – идиотство держать «уитстона» в сейфе. Нет. Воров бояться. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды.

Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стенку и встает.

– Может, приехал уже... По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе.

Игорь тоже встает.

– Ко мне в литейный не ходим? А? Посмотришь.

Мы идем в литейный.

– Как тебе этот тип? – спрашивает Игорь.

– Как сказать, не завидую его жене. Чахотка плюс несварение желудка, должно быть.

Впрочем, все, что он говорит, сущая правда.

– А меня раздражает.

– Ты неврастеником стал, ей-богу, – все раздражает. Шапиро раздражает, Пенгаунис подворотнички стирает – раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?

– Не люблю ворчунов, что поделаешь. А это уж такая экспансивность, что, того и гляди, полные штаны будут.

– Поживем – увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсюлях натренировать. Чтоб как часы втыкали и не боялись.

Седых улыбается:

– А чего там бояться. Я таких вот сазанов толком глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы знаете сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу – двумя руками не подымете. Я уже видал, тут челнок за забором лежит.

У входа в литейный группа рабочих окружила здорового парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна.

– До института, сволочи, добрались. «Тр-р, тр-р» из автоматов... А у нас винтовки. Только к входу подходим, а они из окон «тр-р-р, тр-р-р»... Хорошо, «КВ» подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне Мечетки.

Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.

– Только один выстрел «КВ» дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы с заднего хода – от дерева к дереву.

– А много их, фрицев-то? – спрашивает кто-то из толпы.

– На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше.

– А ты что, считал?

– Считал... – Парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую. – Пойди посчитай. Там только арифметикой и заниматься, – машет он здоровой рукой. – Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься.

На обратном пути опять встречаем раненых – старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут. Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А в общем ничего – жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И совсем по-молодому, подмигнув глазом, старик с мальчиком идут искать медпункт. Прибитая к фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.

В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна.

– Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик, а сказка. Другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный, как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные?

– Хоть пруд пруди, – отвечает Ведерников, – сотни две или три.

Только-только заканчиваем калибровку – подбор капсюлей с одинаковым сопротивлением – и заменяем капсюли на зарядах, как начинается обстрел. Длится около часу. Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале зияют дыры в потолке.

Стрелка прибора беспощадно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.

– Закопать надо провод, от осколков житья не будет.

И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче – цепь разбивается на участки и каждый участок можно проверять в отдельности.

Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, чтоб он был осторожней, другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место.

До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаз с «уитстона», но все проходит благополучно – порывов нет.

Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Это нам значительно облегчает проверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетаскивать из машинного зала в подвальные камеры, под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтобы обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем, быть готовым к ночи.

Гольдштаб отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.

– Помните, что после предварительной команды – более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович. Керженцев – за взрыв.

– Ясно. А очередность?

– Никакой очередности. И первая, и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка.

– Ясно.

– Все ясно?

– Все.

Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы.

Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам – их восемь черных ящиков, закопанных в яму; другой к зарядам – восьмидесятитрехпудовым мешкам с аммонитом. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой, на всякий случай. А через час или два, а может, и раньше позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего...

Сидим и курим. Валега штопает колено. Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик, Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок.

В двенадцать звонит Гольдштаб – проверить сеть и не спать.

В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов – нет ли десятков двух лишних капсулей калиброванных. Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно.

– Ну а вообще как, спокойно?

– Спокойно. А у вас?

– Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего.

Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся. Садимся. Курим. Включаем мостик. Выключаем. Молчим.

В пять снова звонок. Можно ложиться спать. Говорит Гольдштаб.

Слава Тебе, Господи...

Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот.

Напрасно мы свои шинели там, у Гольдштаба, оставили.

16

То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка – и в пять часов можно спать.

Атмосфера разряжается.

Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими паутинами.

Приказа все нет.

От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходящее облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не щурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения.

Бои идут в южной части города, у элеватора, и в северной – на Мамаевом кургане.

На нашем овраге без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии. Шли долго, непрерывно, всю ночь напролет, батальон за батальоном. С артиллерией, обозами. Два раза немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня, обычно ночью, и Гольдштаб звонит: «Будьте готовы», а утром все успокаивается и мы ложимся спать.

Начинаем обживаться в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: Одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Седых привлекает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, «Ниву» за двенадцатый год.

По вечерам, усиленно слюнявя палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит «тезоименитство», или «генерал от инфантерии», или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая, детская физиономия, его чуть раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.

Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться, отчаянно фыркая, брызгаясь на версту и шумно шлепая себя по плечам и животу. Скажешь ему принести немного дров – он притащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-бра и тур-де-тетты.

Любознателен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему немцы не могут разгадать секрет «катюши», и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают?

Вечером однажды идет разговор о героях и наградах. Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колени – его любимая поза.

– А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? – спрашивает он.

Все смеются.

– Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше.

Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурок.

– Тогда всё, – тихо говорит он.

– Что – всё?

– Будет у меня орден.

И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже свершившемся. Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал.

Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.

– У старшего лейтенанта Свидерского нет ординарца – иди к нему, – угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку, из которой он мне поливает.

Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега шупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать» – и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.

Но, в общем, живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает, критикует недоваренную кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то «шнапсом».

По вечерам Валега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.

Сержанта Ведерникова переводят куда-то в другой цех, и мы его больше не увидим. Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую «Ниву», режемся в «козла» или «двадцать одно». Георгий Акимович не выносит этого, хватается письма Чехова и демонстративно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.

Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он не покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда

сам, а рвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипятится, обвиняет всех в безделье, но ТЭЦ свою и каждую машину, каждый винтик в ней, обожает, как живое существо. Вообще, в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.

– Куда нам с немцами воевать, – говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. – Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

Игорь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.

– Что вы хотите этим сказать?

– Что воевать не умеем.

– А что такое – уметь, Георгий Акимович?

– Уметь? От Берлина до Волги дойти – вот что значит уметь.

– Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.

Георгий Акимович смеется мелким сухим смешком. Игорь начинает злиться.

– Что вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали – и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.

– Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.

– Вот-вот-вот... – горячится Игорь. – Петены и лавали. Именно петены и лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта:

– Никакой.

– Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.

– Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению, – разве от этого легче? Это называется – ублаживать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.

– Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...

– Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожишь десять посредственных. Как по-вашему?

– Подождите... Будет и у нас много танков.

– Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем.

Игорь вскакивает как ужаленный.

– Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Черта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить.

Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.

– Чего вы злитесь? Сядьте. Ну сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно. – Игорь подсаживается. – Вот вы говорите, что и отступать надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет – нет хлеба. Донбасса нет – нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас – это все. Армия должна быть обути, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под сапогом у немцев, – больше всей Франции – мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

– В силах... В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все-таки отогнали...

– А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете – Кузбасс, Урал весь. Верно. Это мощные промышленные узлы. Но до начала войны, кроме них, были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать еще не значит пустить в ход. А тем временем видите, что делается...

Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия «Ю-88». Медленно заворачивает и идет на другой заход.

– Они даже без истребителей ходят... Безнаказанно, сволочи, как у себя дома...

Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десятков окурков. Смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты.

Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.

И вдруг встает.

– Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут.

И уходит.

Не может быть... Это все, что пока мы можем сказать.

Не может быть...

Был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый, и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. «Максим» и трехдюймовка – это все. И выкрутились все-таки. И Днепр-прогэс потом построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать.

Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю. Снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавший не только нас, но и всех, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.

Он как-то сказал:

– Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас сможет спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.

Чудо?..

Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днепр и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали приглушенными огоньками сигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев.

– Нет, Вася... Ты уж не говори. Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло земля – жирная, настоящая. – Он даже причмокнул как-то по-особенному. – А хлеб взойдет – с головой закроет...

А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.

Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул: «Приготовиться к движению!» Все зашевелились, загремели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.

Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат.

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.

Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окуроч. Маленький, еще дымившийся окуроч. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окуроч на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть.

А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.

Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджачке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие, бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок, дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим и на все раздражался.

А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. Шагах в двадцати, не больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, вокруг места разрыва.

– Вы понимаете, – говорил он мне потом, – с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть, вы его знаете, американский, второй от окна. Я их знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные, вам просто жалко завод – и все. А для меня...

Он не договорил и ушел к своему мостику.

Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали машины. Ехали куда-то. И люди шли. Тоже куда-то...

Это было полтора месяца тому назад – в июле.

Сейчас сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят – значит там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле.

Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.

Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.

Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в небольших, аптекарского вида бутылках грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед.

– Ну что ж, будем прощаться, – говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой. – Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ.

– А нам куда?

– На ту сторону. В штаб фронта – инженерный отдел.

Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.

С Георгием Акимовичем мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:

– Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: «Ну, кто был прав?» – и я скажу: «Вы».

Он провожает нас до тропинки, сбегавшей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.

Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой, запоминающийся след и скрылся, по-видимому уже навсегда.

Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой разохшейся лодке и смотрим на дымящиеся трубы Тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапиро рассказывает нам, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то.

Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника – ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.

Штабов и тылов так много, в каждой рожице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем непросто. Везде часовые, колючая проволока, табличка: «Прохода нет».

К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домик давно уже не существует. Только на карте – черный прямоугольничек с косой веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них – она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее, – сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживает:

– Замечательно! Просто замечательно! А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья... Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться.

Оказывается, только что перед нами («Вы не встретились?») был капитан из инженерного отдела 62-й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184-я дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор – сержанты вместо полковых инженеров. В резерве – ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.

– Короче говоря... вы, вероятно, голодны. Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропинке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне.

Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким, женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у «д», надписывает конверты.

– Кто из вас Керженцев?

– Я.

– Вам отдельно. В сто восемьдесят четвертую. Советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете. – Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты. – Постарайтесь увидеть дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее.

Остальные получают общее направление в штаб инжвойск 62-й армии.

– Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите.

– А в сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? – спрашивает Игорь. – Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.

Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.

– Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего. – И, почесав карандашом переносицу, добавляет: – Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из шестидесят второй представитель приедет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.

Мы уходим под осинки.

– Ты пешком пойдешь? – спрашивает Игорь.

– Дойду до регулировщика, а там посмотрю.

– Я тебя провожу.

Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.

– Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.

– Обязательно, – нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.

Через несколько минут он догоняет нас.

– Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший – двойной.

Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман, – в него добрых полфунта табаку влезет. Опять жмет руку. Потом Валеге, потом опять мне.

Мы молча доходим до регулировщика.

– Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так всё машины, – говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими, торчащими, запыленными ушами.

Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это – от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается.

Вот уже более двух недель стоит она такая – спокойная и неподвижная – над горящим городом.

А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград – 6 км» указывает прямо в небо.

– Дорога в рай, – мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал.

Подходит регулировщик.

– Во-он журавли полетели, – тычет он грязным корявым пальцем в небо. – Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?

Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычат журавли.

– Совсем как «юнкеры», – говорит регулировщик и сплевывает, – даже смотреть противно.

Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся.

– Что, туда или оттуда? – спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.

– Туда.

Он качает головой и делает несколько затяжек.

– Да... Невесело там, что и говорить... – И отходит.

Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает, нет ли напиток. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.

– Ну а как там, на передовой?

– Паршиво, – равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его – серых, как и весь он, – кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет.

– Здорово жмет?

– Куда там, головы не подымешь.

Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает.

– Народу мало... Вот что погано...

– А в городе кто? Они или мы?

– А кто его знает, где там город... Горит все... Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.

Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую, кривую палку.

К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать – не из нужной ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается.

– Говорят, сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов.

Всадники скачут дальше, поднимая облака пыли.

– Ну что ж, я пойду, – говорит Игорь.

– Ну что ж, иди, – отвечаю я и протягиваю руку.

Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается.

– Я не прощаюсь, – говорит Игорь.

– Я тоже.

Мы трясем друг другу руки.

– Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.

– Обязательно... Как же.

– Ну, я пошел.

– Всего, Игорек.

– Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.

– Разве?

– Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали. – Он шарит по карманам. – Вот он, за подкладку завалился.

Игорь протягивает нож – Валегин трофей, – золингенский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.

– Ну, теперь все. Будь здоров.

– Будь здоров.

И он уходит своей обычной, непринужденно-ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.

Неужели я и с ним уже никогда не увижусь?

18

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего – ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть и все нет.

Грузятся сразу две дивизии – 184-я и еще какая-то, 29-я кажется.

И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще, какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.

Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.

Кто-то дергает меня за рукав:

– Слушай, друг, фонарика нет?

– Есть.

– Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь...

Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.

– Давай под лодку залезем. Две минуты только... Ей-богу.

Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло – батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке «шпала». С трудом вытягивает из лопающейся от бумаги, перетянутой резинкой планшетки карту.

– Вот иди разбери, – тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте. – Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! – И он длинно и заковыристо ругается. – Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее – дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.

Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.

– Не у вас сегодня инженера убило?

– У нас. Цигейкина. А что?

– Я на его место прислан.

– Ну. – Крупнолицый капитан даже обрадовался. – Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.

Мы вылезаем из-под лодки.

– Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.

Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.

Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать, пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга – неделями, месяцами, на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», – мелькает в голове.

Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные, цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя – могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки – большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.

Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.

Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она неплохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.

На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.

Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины – восемь штук, – когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.

Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покрхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.